

Все о тебе

Она ворвалась в наше искусство, как в старые годы врвался в выжидательно притихшее селение нарядный, звонкий, стремительный свадебный поезд.

Высокая, статная, белозубая, как опять же в русском селе сказали бы — «моторная», она не приучала публику к себе, и публика к ней не привыкала. Ошеломленная ее могучим голозом, неотразимым напором, неистовством брызжащего таланта, обаяния и той тайной, которая дается природой лишь избранным. Она была подвзвачена и поднята ввысь благодарными руками, да и сама возвысила нас, наше искусство, подняла над обыденностью. Это было взаимной любовью, это было сотворчеством певца и слушателя, подытоживающегося по яркому певческому дарованию, слушателя, избалованного изобилием талантов в минувшие годы безмерно любящей и нещадно их губящей матушки нашей — России.

Как и полагаешь яркому таланту, не вмещающемуся даже в крепком теле и всеобъемной душе, разрывающему слабую человеческую плоть, добеда раскаленной в кузнечном горне заготовкой искрилась она, сверкала на сцене, сотрясая ее, одряхлевшую было, разметывала серебристые, тихоголосые фигурки во фраках, обвешанных медалями за «умный», своевременный и целесообразный концертный материал. От избытка сил, молодости и русской удалости она даже и «пофудюганничала» маленько. Сошурив и без того острозрачные глаза, сокрушительно, «бесовски» сверкая ими, пела она знаменитую «Хабанеру» с беспощадным всепоглощением и страстью, по-кошачьи тихо подкрадываясь к притихшей публике, выставляя стиснутым ртом: «Лю-лю-убовь, лю-у-убовь», и ноздри при этом у нее расширялись, как у собольки, почувшавшего добычу, трепетали, пульсировали, лоб бледнел. Мой товарищ, еще молодой, жаркий, с примесью азиатских кровей, ерзая подле телевизора, стонал: «Ну, я не могу! Я сейчас пойду и женщину какую-нибудь полюблю или... чего-нибудь разобью!»

Бунтарка! Мятельница! Обольстительница! Женщина! Певница!

Как много от любви и благодарности является слов человеку, одарившему тебя счастьем соприкосновения с прекрасным. Но я не сказал главного слова, по праву ей принадлежащего, да и пришло оно, это главное слово, позднее, когда я понял, что ничего человеку даром не дается, даже избранному, «отмеченному» «там» и к нам на утешение и радость высланному.

Попал я на спектакль «Пионовая дама» в Большой театр и — наконец-то! — увидел ее вочую, не через окошко телевизора. Спектакль был будничным. В зале не было почетных гостей и «представителей», зато было много неряшливо, по-уличному одетых иностранцев. И, может, поэтому состав спектакля оказался более чем скромный, который, может, и украсил бы областную театр, но на сцене Большого выглядел удручающе убогим. Было обидно за театр, все еще благоговейно нами называемый с большой буквы, театр, в котором на этой же сцене накануне совершался великий жест «Спартак» и неземные «звезды» до того ослепляюще сверкали, что дух захватывало от чуда, творимого на сцене. И вот здесь же — плохо двигающийся, перекачанный, перезапятнутый, слабоголосые люди пытались по музыке Чайковского изобразить страсть, страдание, трагедию, да ничего не изображалось. На публику со сцены веяло холодом. Иностранцы открыто и демонстративно зевали и резинку жевали. Наши зевать не смели из уважения к стенам этого театра и к билету, который они купили с рук по стоимости месячной студенческой стипендии.

И тут она, «графинья», как рявкнула на бедную свою воспитанницу Полину, та аж содрогнулась, и публика в зале обрела, иностранцы не только зевать, но и жевать перестали, подумав, видать, что начинается не иначе, как «происки большевизма». У одного иностранца с испугу даже бакенбард «штраусовский» отклеился.

И повезла певица спектакль «на себе», как телу с битым кирпичом, и задвигались вокруг исполнители, и дирижерская палочка над оркестровой ямой живой затерянной замелькала, запереливался свет, засеркали искры снега в холодном Петербурге, даже серпик искусственной луны живой засеребрился, а уж когда она соорудила свою «корону» — романс графини, да еще и на «французском»... публика впадала в неистовство. «Заглонула разом и всех!» — с восторгом ахнул я, отбивая ладоши.

Ее много раз вызывали, осыпали цветами, цветочек-другой перепал и сотоварищам ее по труду. И не первый раз подивился я благодарности настоящего таланта. Может, на собрании «прима» будет разорваться, топтать ногами, но на сцене не придает собой никого и никогда. Давно еще приезжал в музыкальный город тех лет Пермь Александр Огнивцев и пел Мефистофеля в «Фаусте». Напарнички ему в спектакле угодили из тех, коим годик-другой оставалось допеть до пенсии. В латы законные, они могли топорщиться, гремять, «отправляясь в поход», да голосок-то, как в одном месте волосок — его не прибавишь, не убавишь, думалось мне. Ан «ради общего дела» Огнивцев малость «припрятывал» голосу и двигался не так сокрушающе, как мог, — я видел и слышал его в «Хованщине» на сцене Большого и возможности певца знал.

Буря оваций была столичному певцу не только за прекрасно исполненную партию, но и за его «партнерство», за то, что не унизил он и без того униженную российскую провинцию. Девчонки из местных меломанов, хлопавшие Огнивцеву и «браво!» кричавшие, когда он вышел на седьмой или восьмой поклон уже без парика и склонил свою русую головушку, восторженно вскрикнули: «Дьявол-то еще ничего!» — «Да что там ничего? Молодец!»

Усталую «графиню» с поникшими плечами, взнеможенную, с трудом, казалось мне, раскалывающуюся, — шутка ли, вывезла ведь, вывезла в гору скрипучую телегу с грузным возом, постояла за честь Великого театра! — наконец отпустила домой, отдохнуть.

Каково же было мое изумление, когда в гостинице явившись с концерта из Кремлевского Дворца съездов (было это во время писательского съезда) братья-писатели с восторгом рас-

сказывали, как во втором отделении пела она — царица, демон, сокрушительница, дьявол — «Кармен» с одною серьюго в ухе! Как выдала: «День ли царит... Все, все! Все о тебе!» Ну я от восторгу чуть прямо обнять кого-нибудь готов был». Ликовал писатель-провинциал с Кубани:

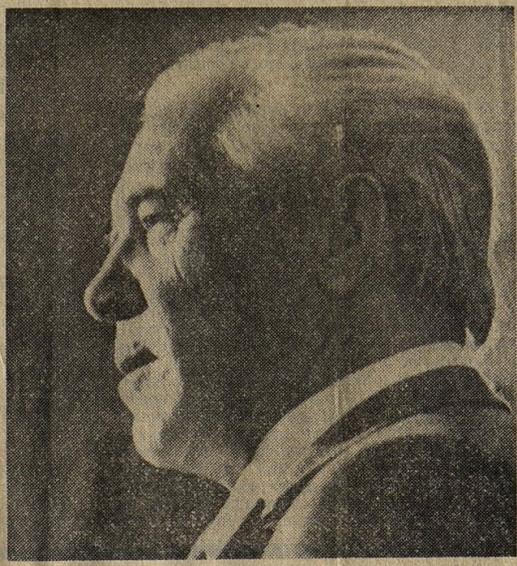
«Это она, ребята, не успела после спектакля в Большом театре впопыхах надеть вторую серьгу!» — махнул я рукой.

Так, быть может, я и думал бы, что могучему этому человеку все ничто, сила и стихия таланта несли и несут ее по волнам славы. И пусть несут. Только чтоб не опрокинули вниз головой в тухлые воды современного искусства.

Но вот она попала на гастроли в Японию. А японцы — народ не только уважительно-ласковый, но и дошлый. Поет «посланица советского искусства», овации в зале бунтуют, а телевизионная камера показывает не только ее белозубый рот, концертное платье и драгоценности в ушах и на шее, как это делают наши «скромные» операторы. Они лицо, непривычно утомленное, показывают и как-то умудряются большое внутреннее напряжение певицы изобразить.

ПЕВЦЫ

Сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с новыми «затесями» Виктора Астафьева



Она выдала еще одну свою «корону» — арию из оперы Маскани «Сельская честь». Что в зале поднялось — ни в сказке сказать, ни пером описать! Она раскланивается, раскланивается и все норовит за кулисы усмыгнуть. «Устала», — догадался я. Японский же оператор все не отпускает ее, все гонится за ней с камерой и за сцену ее сопроводил, чего наши, боже ушаси, никогда не делаем. Впереди певицы пятится пожилой японец интеллигентный — организатор гастролей, тоже аллодирующий и кланяющийся. За сценой какие-то люди поднялись с кресел, зааплодировали певице, она и им слегка поклонилась, одарила их улыбкой, потом увидела чашечку, из которой пила, видать, перед началом концерта, взяла эту чашечку, предусмотрительно подставив под нее ладошку — японцы все замечают, на то у них и глаза вразбежку — надо вести себя интеллигентно», — оплила глоток остывшего чая и со стоном исторгла: «О-о-о-о!»

И понял я: не так все просто. Великому таланту — великий труд! И когда, будучи в гостях у замечательного русского композитора Георгия Васильевича Свиридова, сказал об этом, он заметил: «А как же! Думаю, что она «Честь» эту самую пела еще студенткой консерватории. В конкурсных программах пела. Да где она и чего не пела?! А все репетирует, репетирует!.. Вот мы готовим с ней концертную программу, так кто кого больше замучал — сказать не берусь...»

Я гляжу на экран телевизора: что-то гремит, вопит, кривляется, где девки, где парни — не разберешь, голоса и волоса не различимы, сплошь выгнливо-бабья. Знаменитый на всю Европу ансамбль ослепил нас, «отсталых и сирых». Хитрая, нагловатая девка, наряженная в цирковые штаны, раскрасочная и накрашенная под шамана, в заключение самого сокрушительного «нумера», перевернувшись через голову, мелькнула сексуально развитым залом и, невинно плясая шальными глазами на ликующую публику, сказала: «Сенк-ю!», сказала той самой публике, над которой в недостаточных высях, богами реют и звучат Шалалин, Собинов, Лемешев, Пирогов, Михайлов, Обухова, десятки других российских талантов. Слушая их, охваченный восторгом мир любовно объединялся, когда и безстрашно шел на баррикады. И если мы по сию пору не совсем еще одинаки, «виновата» в том и наша вокальная русская школа и новая волна прекрасных певцов-труженников. Среди них первый запевала — она!

Елена Васильевна Образцова.

Благословляю вас

В Вене возле шикарного отеля стоял шикарный «мерседес». Советник нашего посольства с гордостью сказал:

— Нестеренко на гастролях в Вене. Сутками «мерседес» у подъезда стоит, а живет он в номере, где Шалалин Федор Иванович оставил, там отдельный зал для репетиций есть, рояль сохранился, еще тот, который при Шалалине был. Живая пальма в гостинице номера растет. Во как! Знай наших!

Уж так ли это было, не так ли — не проверял, не знаю, но тоже порадовался за певца, за уважение и почитательность к нему. А то

попадает в такую российскую гостиницу, после ночевки в которой так испростынет, что петь маленько будет, но уж шевелиться, садиться — нет. Или угорит в гостиницу достославного герцога Владивостока, стоящую на берегу ослепительно-голубой бухты, и придется ему на ночь рот завязывать плохо стиранным полотенцем. Иначе совсем петь нечем делается — тараканы поналезают повсюду, куда можно залезть. Братника-таракан тут с кораблей сошел, морские бури — цунами перенес, страху и совести он не ведает, борьбы не принимает, он отравительный порошок жрет и кайфует, будто бич-токсикоман.

Советник же посольства, редной приветливости человек, достал мне билет в Вена-оперу на «Дон Карлоса». Я поражен был в самое сердце: билет в боковую ложу стоил аж целый костюм! Мужской! Раз театр знаменитый, стало быть, и цены знаменитые! Глянул сверху в партер, на обнаженные шеи и плечи буржуж, увешанные драгоценностями, на самодовольных мужчин в черных фраках и костюмах, и тоже сплешь в золоте! Сколько же туда-то билет стоит?! — подумал я и, как истинный сын протетарского государства, тут же суровый приговор вынес: «С кого и драть, как не с этих паразитов?»

клянем за беды и прорухи всякие, подарил современному человеку и великие преимущества перед предками, дал возможность «запрос» приобщиться к чудесам века и к Великому искусству тоже.

Я протягиваю руку, беру с полки пластинку (так и не могу привыкнуть к пленкам, к телефону, где ничего «не видно»). Пластинка — она живая, кружится, качается, маленько шипит, потрескивает, щелкнет где-то, и ты уж вроде бы в зале, с «кем-то» есть), я отпускаю иглу — и братский (нет-нет, не панбратский), родной, российский бас одаривает меня восторгом и горем, «говорит» со мной напрямую, из души в душу, о самом близком, о том, что «сегодня, сейчас вот болит» и чем утешиться хочется.

«Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды...»

И я благословляю тебя, необходимый мне и всей России певец, и труд твой изнурительный, и бремя славы нелегкое, и жизнь твою, и «по-сох твой» благословляю. Вместе с тобой радуюсь жизни, которая порой так опустошает, что уж хочется «удочки смотать». За все, за все благословляю, за каждую былинку в поле, и «в небе каждую звезду», а уж «за одинокую тропинку», коих я исходил столько, что ими землю опоясать можно, благословляю и благодарю в отдельности.

Много раз в тайге сибирской, в уединении, среди ночи, в горах, под живым и вечным небом слышался мне твой знакомый голос и песнь твою жизнедарная. Они поддерживали и поддерживают меня в этом грозном мире, помогают и помогают работать. Верую, и до конца дней моих звучать будет во мне твоя песнь неумолчно, да и за мной не замрет.

Вам не понять моей печали

Болезнь загнала меня в Крым, на лечение, и в заведении под громким названием «Институт имени Сеченова» я познакомился с человеком, который походил сразу на всех иностранцев, но в первую голову на итальянца.

Он и был долгое время «синьором», да вот снова обрусел и отдышался от трудов надсадных, но так и не оклемался — сверхагрузия и образ жизни, простым смертным неведомые, доконали его.

Он читал мне Данта в подлиннике, на том, на древнем языке, который и самим итальянцам уже мало доступен, как и нам — древнерусский. Какое величие! Какая простота! И какой дух древности, покоя, космическая необъятность и непостижимость в музыкальных Удлышать и «достучаться» до них дано лишь природой наделенным особенным слухом, духом и еще чем-то необъяснимым.

Он прекрасно знал мировую живопись и музыку, но много пил, куролесил, проигрывал и выигрывал на бильярде неслыханные в моем понимании деньги, вальсующий в постель, всегда пел одно и то же: «Аммилик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить...»

Однажды мы разговорились на тему искусства вообще и вокального в частности. Среди любимых исполнителей я назвал «пискуху», которую слышал и слушаю давно, люблю неизменно, выражаясь по-старомодному — трепетно.

— Какую пискуху? — переспросил мой новый знакомый.

— Иванову? У нас сейчас Ивановых больше, чем до революции было.

— Викторию. Отчества не знаю.

— Отчество ее — Николаевна, — отчетливо молвил он и добавил: — Это моя баба.

— Ка-акая баба?! — с возобновившимся от давней контузии занятием переспросил я.

— Обыкновенная. Жена.

Повергнув меня в ошеломление и доведя до остановки разума, этот истинный москвич-пижон вдруг схватился за живот и так вот, не разгибаясь, поволок меня к междугородному телефону-автомату. Звонить он умел и скоренько «добился Москвы».

— Слу-ушай, Вика, с тебя пол-литра! За что? За поклонника! За какого? А за того, про которого мы час назад говорили. Может, может! Земля круглая. Передаю-у тру-убочку-у-у...

Так мы познакомились с Викторией Николаевной Ивановой. Но встретиться не скоро. Не счастья, да все оглушающее, сыпались одно за другим на певцу. Веселый и загадочный муж ухайдакал-таки себя, оставив жену с тяжело больной взрослой дочерью и на пределье уже век доживающей сверхверью, так она стара и хвора, что за ней уход нужен был и глаз да глаз.

А «пискуха-то» в самом расцвете творческого дарования, и ее ангельски-невинный, в душу проникающий голосок часто звучит по радио, реденько в концертных залах. Выступавшая с триумфальным успехом в парижских, римских и берлинских, она, чтоб не потерять вакансию в Москонтрте, значит, и кусок хлеба, мотается по запатгачным городам Отечества нашего, где уже началось разгул громовлящей эстрады, поет в полудушастых залах.

В залепанном зале одного уральского, «много об себе понимающего», чумазого городка, почувствовав невнимание и шумок, она начала говорить об искусстве и петь. По счастью, в зале оказался репортер местного радио и включил запись. Эта импровизированная беседа-концерт долго потом звучала по Всесоюзному радио в программе «Юность».

И вот она собралась на гастроли в Вологду. Я думал, думал, как привлечь слушающую публику в очень уютный, красивый зал бывшего дворянского собрания, и додумался: написал заметку в местную газету о певице не после концерта, а до него.

Концертный зал филармонии был полон. Как пела Виктория Николаевна, как пела в старинном, украшенном всевозможной лепотой, с совершенно редкой акустичной зале!

Пела она Шумана «Любовь и жизнь женщины», «Аве Мария» Шуберта, пела Вивальди, Дебюсси, пела особенно любимые ею русские

песни и целое отделение — романсы, дивные русские романсы.

В пятидесятые годы по Всесоюзному радио часто звучали музыкально-драматические радиоспектакли о русских композиторах, и в первую очередь о композиторах полузабытых или вовсе забытых. «Ожили» Евстиней Фомин, Барламов, Булахов, Гурилев, затем Березовский, Бортнянский, Вейдль, даже безвестные, еще «крюком» записанные поморы-певцы ожили.

В радиопостановке о тихом, малоизвестном композиторе Гуриеве, человеке столь же щедром одаренном природой, сколь и несчастном, я впервые услышал романс «Вам не понять моей печали». Пела его еще не известная мне тогда «пискуха», пела таким разукрашенным, таким акварельно-чистым, со всех мест и сторон оттененным осенне-алым, вот именно первоосенней, вкрадчивой красы полным голосом, что и слезой меня прошибло.

Как-то беседа по радио о вокальном искусстве, тогдашний ведущий солист Большого театра Кибкало признался, что в концертных программах у каждого думающего и песню любящего певца есть «своя» программа, состоящая из того, что роднее и ближе его душе. Эту программу поет солист охотней и чаще, но и в этой или других программах «гвоздем» вбиты одна, самая-самая песня, арня или романс, которая лучше всего удается именно этому певцу, и другие певцы, если они, конечно, не «шипачи» карманного толка, а настоящие певцы, с молчаливого согласия «джентльменски» уступают ему право на эту вещь, и называл свою «заветную»: «В тот час, когда на крутом утесе...»

Так вот, «модча» уступили певцы романс «Вам не понять моей печали» Виктория Николаевна Ивановой, лишь сестры Лисидан еще поют его дуэтом, замечательно поют, никого не повторяя.

А я все надеюсь и жду: радио возьмет да и возобновит радиопостановку, телевидение посадит к инструменту знаменитого певца, и он расскажет о своей «заветной» — откуда взялась она, расскажет, да и сам каким образом в искусство возник, расскажет, да и споет или сыграет «самую-самую». Глядя на них, мудрый старец Мравинский про Шостаковича и Бетховена поговорит, оркестр его сыграет свое «заветное». Светлаков «покажет», отчего и почему ему лучше всех удается «Пятая симфония» Чайковского, Виктор Третьяков — про Моцарта и Паганини, да по-домашнему, на доступном бы всем языке...

Ах, мечты, мечты, где ваша... Тогда в Вологде Виктория Николаевна спела «Вам не понять моей печали» по программе и на «бис». Она много и вдохновенно пела в тот вечер и к нам домой на чай попала поздно, и я увидел, что мои женщины возятся с певицей в углу, сунулся было туда, но на меня зашикали и прогнали вон. Позднее узнал: отекли ноги у певицы и ее едва «вынули» из тесных концертных лакировок.

С тех пор мы состоим с певицей в переписке. Давит жизнь человека, и не просто давит, разплющивает, но не может с ним совладать — музыка, пение, лад божий спасает.

В гостинице аэропорта, на краю родного города, я грею руки Виктории Николаевны, натягиваю на нее теплую куртку и шерстяные носки. Плача и смеясь, она рассказывает, что филармония Красноярская — города высокой культуры — отвергла ее «домогания» и из Абакану по небу сразу же перебрасывает в Норильск.

Я уже знаю, что она прежде бывала в Красноярске, пела в каких-то захудалых заличках, что однажды ее загнали на мясокомбинат, где, исполняя Шумана и Шуберта, среди людей, одетых в окровавленные куртки и фартуки, она заблудилась лишь об одном: чтоб ей не сделалось дурно.

Только что в номере гостиницы, где никогда не светает, побывав администратор местной филармонии — хам с колодами ветерана на ляджках, Развадиль, сидел он в кресле, обращаясь ко всем на «ты». «Солистка? Кака солистка? Много вас тут разных солисток ездит. Скажи спасибо, что билет зарегистрировал. Иди и садись. Багаж? Сама тащи. Барыня кака! Я в гостинице не наминался».

— И слухи он, слухи, рыло немьтее! — внявша за свой город, за земляков своих, суетился я перед разбитым и усталым человеком. — И хорошо, что сразу в Норильск. Народ там запольярный, благодарный, по искусству истосковавшийся. Полон зал будет. И устроят по-человечески, даже цветов принесут. У них там оранжерея. По телевизору показывали, жениху и премьеру Триоду розы вручали... «Как хороши, как свежи были розы!» — припомнил-ся кстасти стишок.

— Да успокойтесь вы, успокойтесь! Я, на вагон взобравшись, пела, и в святых соборах пела, и в Зале Чайковского пела, и в преисподнюю однажды угодила!.. Да-да! В каком-то городишке доски проломались, гнилые были. И я... значит, турманом отседова туда...

По сей день нет-нет да и прилетит нарядная открыточка в Сибирь из какого-нибудь города, исписанная вдоль и поперек, и в конце ее непременно нарисована округлая женщина с широко и озорно открытым «веселым» ртом — поет Виктория Николаевна, звучит, родимая, на родной земле. И никак не удосужиться записать хотя бы один концерт на пластинку или на пленку, все недосуг, все беды гнут, жизнь гонит.

Недавно сообщили мне из Москвы — с успехом прошел концерт Ивановой в зале консерватории, усыпали «мою пискуху» цветами с ног до головы. Может, и записать догадались? Надо бы. И опоздать можно.

Ну, а насчет печали. Что ж ты с нею делаешь? Она часть нас самих, она — тихий свет сердца человеческого. Не все его видит и слышат, но я-то слышу твою печаль, дорогой мой содовой, в этом мире одиноких и горьких людей. И ты мою слышишь. Разве этого мало?

Утешься и пой! Для того певец и рождается, чтоб одарить людей светом, чтоб раздлит богатство свое, свой восторг с ними, передать им радость, ну и поубавить в мире печали, боли и горя. И еще певец является для того, чтоб, страдая вместе с нами и за нас, сделать людей добрее и лучше. И пусть боль певца не будет никому «видна», но да будет она вечной слышна.

Писатель Виктор Астафьев.

Фото А. Гостева.